

миссии и условия пребывания пленных в России в целом. Автору, напротив, весьма убедительно удалось представить, что подобные символические конструкции не соответствовали реалиям Среднего Урала: продукты и вещи расхищались, денежные переводы первоначально облагались высокими процентами, часто вообще не выдавались, постоянные перемещения на длительное время оставляли военнопленных без всякой поддержки (с. 159).

Интерес для актуальных исследовательских дискуссий представляют и попытки автора отразить социологическое измерение плена. Стоит оговориться, что и здесь она оказалась верна институциональному ракурсу, описывая практики встраивания пленных в локальные сообщества (поступление на работу, сожительство с одинокими женщинами, стремление вернуться домой, попытки интегрироваться в новые социальные структуры, втягивание в машинерию сталинского террора) в основном через ведомственные источники или через восприятие местного населения. Сами пленные «получают слово» нечасто – в основном автор цитирует их высказывания в качестве доказательств каких-либо тезисов о функциональности или дисфункциях системы российского плена. Соответственно наброски коллективного портрета военнопленных, коими завершается книга, выполнены не с точки зрения внутренних переживаний сообщества, а сквозь призму

демографо-социологических характеристик – происхождения, профессиональной принадлежности, возрастных когорт, динамики брачности и смертности.

Представляется, что перспективным развитием намеченной автором проблематики станут ответы исследователей на вопросы, связанные с кратко- и долгосрочными трансформациями, спровоцированными «концентрическими круги плена» на разных уровнях принимавшего их общества; хозяйственными практиками и технологиями, концепциями и конкретными знаниями, ставшими предметом культурного трансфера; управленческими стратегиями, медицинскими и санитарными инновациями, методами социального контроля, отразившимися в российском/советском опыте, и с тем, какой след в отечественной культуре памяти – литературе, искусстве, кино, общественных представлениях – оставили безоружные солдаты и офицеры противника. «Принимающие локальные сообщества» ждут дальнейшего изучения.

Примечания

¹ См., например: *Zwangsarbeit als Kriegsressource in Europa und Asien* / Lingen K. von, Gestwa K. (Hg.). Paderborn, 2014.

² Подробнее см.: *Altenhörer F. Kommunikation und Kontrolle. Gerüchte und städtische Öffentlichkeiten in Berlin und London 1914/1918*. Göttingen, 2007.

Никита Комочев

Рец. на: Учёный в эпоху перемен: Н.И. Кареев в 1914–1931 гг. Исследования и материалы / Авт.-сост. Е.А. Долгова. М.: РОССПЭН, 2015. 512 с.

Nikita Komochev

(History and Archives Institute of the Russian State University for the Humanities)

Rec. ad op.: Uchenyi w epohu peremen: N.I. Kareev v 1914–1931 gg. Issledovaniia i materialy. Moscow, 2015

Новое издание документов, посвящённое последним десятилетиям жизни известного историка Николая Ивановича Кареева (1850–1931), без сомнения, заслуживает особого внимания. Здесь

представлено более 220 документов, объёмные записные книжки за 1925–1931 гг., а также воспоминания.

подавляющее число источников опубликовано впервые. Е.А. Долгова, задав-

шаяся целью составить научную биографию Николая Ивановича, использовала материалы, хранящиеся в ЦГИА СПб., ЦГА СПб., ГА РФ, ГА СО, АРАН, ЦГА Москвы, РГИА, ОР РНБ, НИОР РГБ, СПФ АРАН, ИРЛИ РАН, РГАЛИ. Документы в сборнике систематизированы по тематическим разделам: «Учёный и война», «Издательская деятельность Н.И. Кареева», «В высшей школе», «В Академии наук», «Повседневность учёного», «Среди коллег: записные книжки», «Автобиографические заметки и воспоминания о Н.И. Карееве». Такое разделение, учитывая разнородность материала, следует признать удачным. Высок также археографический уровень подготовки издания, что ставит его в один ряд с лучшими публикациями последних лет.

Ценной составляющей книги стал «Перечень исходящих писем Н.И. Кареева 1914–1931 гг.» – фамилии и названия учреждений (330 адресатов), напротив которых в хронологическом порядке указаны даты писем. В сборнике есть также список опубликованных в нём документов, именной указатель.

Интересны написанные Долговой предисловие и обстоятельный вводный раздел «Научная биография Н.И. Кареева 1914–1931 гг.». Здесь представлена картина «вживания» учёного старой школы в новые, советские, условия, что позволило автору обратиться к рассмотрению проблемы «историк–власть» периода 1920–1930-х гг.

Вызывает понимание тезис Долговой о том, что подобное «вживание» у представителей «старой профессуры» проходило по-разному (с. 4, 5). Действительно, «изучение биографий учёных открывает вариативность отношения к ним политического режима и различный объём предоставляемых им творческих возможностей» (с. 5). Схематизация, особенно когда речь идёт о человеческих судьбах, не позволяет разглядеть специфику пути каждого историка. Поэтому автор исследовала биографию Кареева исключительно сквозь «призму документов».

Как и всякое серьёзное исследование, обсуждаемая книга заставляет читателя задуматься над поставленными ею проблемами. В этой связи возникают вопро-

сы: существовала ли система в отношении власти к отдельным историкам, а если да, то чем она определялась, и можно ли писать обобщённо о «власти» и «историках» или в каждом конкретном случае иметь в виду отдельных представителей из того и другого лагеря? «Академики» как официально признанная верхушка научной элиты нужны любой власти как основа её устойчивости. Для советской власти в данном качестве удобнее и нужнее всего были лояльные и в основном аполитичные учёные «старой школы». «Красная» профессура в массе своей не выдерживала с ними научной конкуренции, а в политическом отношении представляла угрозу «генеральной линии» (достаточно вспомнить школу М.Н. Покровского). Не в последнюю очередь имел значение и внешнеполитический аспект – государству важно было показать всему миру, что власть рабочих и крестьян даёт возможность работать и «бывшим». Причём репрессии внутри научной элиты, как правильно показала Долгова, осуществлялись чаще всего руками «своих же», т.е. конкурентов по профессии.

Первоначальный высокий общественный статус историка, безусловно, давал Карееву «иммунитет». Учитывая, что к концу 1920-х гг. оставалось не много таких учёных, к тому же лояльных власти, его положение, как показала Долгова, было сравнительно устойчивым. Он не вступал в противоречия с властью и даже в некоторых случаях шёл на компромиссы. К тому же вследствие активности и наличия деловых связей историк удалось получить пенсию, добиться выделения квартиры, дачи, что в те годы было почти фантастическим.

Однако интересная сама по себе идея автора о том, что высокий «символический» статус (место в научной иерархии) защищал Кареева от репрессий, обеспечивал привилегированность положения (с. 6, 60–61), на мой взгляд, трудно доказуема. К началу 1930-х гг., несмотря на связи и относительное (по сравнению с дореволюционным) благополучие, историка «плотно блокировали» со всех сторон: арест сына и вынесенный ему приговор суда; нестабильный заработок и нерешённость вопросов с недвижимостью (дачу

могли в любой момент отобрать, а квартиру «уплотнить»), в то время как на попечении Кареева находились семь человек, включая семью брата и внуков; критика в научно-партийной печати.

Репрессии имели не только активную форму (арест, ссылка), но и пассивную – создание напряжённой атмосферы вокруг человека. И далеко не каждый был способен в таких условиях продолжать плодотворно работать. Неизвестно, репрессировали бы Кареева, если бы он не умер в 1931 г. Но в его положении и ссылка могла быть смертельной. Смерть учёного позволила сохранить легенду о его пусть относительно, но лояльности советской власти.

Долгова права в том, что для власти статус учёного имел значение, хотя и не был гарантом свободы. С известными историками власть вела себя иначе, чем с молодыми учёными или краеведами, судьба которых подчас оказывалась несравнимо тяжелее. Не секрет, что многие известные в мире русские историки, в том числе ровесники Кареева, эмигрировали (Е.Ф. Шмурло, П.Г. Виноградов, П.Н. Миллюков, Н.П. Кондаков, М.И. Ростовцев, А.А. Кизеветтер и др.), и понятно, почему власть не хотела «разбрасываться» такими фигурами, как Кареев.

Однако даже в отношении подобных людей имелись исключения. Механизм репрессий был подчас непредсказуем. Ссылка ускорила смерть таких историков старшего поколения, не уступавших Карееву по значению (да и по статусу), как Н.П. Лихачёв, М.К. Любавский, С.В. Рождественский, Д.Н. Егоров, С.Ф. Платонов. Были расстреляны В.Н. Бенешевич (вместе с братом и двумя сыновьями),

Ю.А. Олсуфьев, П.А. Флоренский. Через ссылки и лагеря прошли М.Д. Присёлков, А.И. Заозерский, Ю.В. Готье, С.В. Бахрушин и Л.В. Черепнин.

На материале биографии Кареева Долгова стремилась показать справедливость «эффекта Матфея в науке» (термин американского социолога Р.К. Мертон): «Ибо всякому имеющему дастся и умножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Мф. 25: 29). Такой подход представляется спорным. Мало того, что «эффект Матфея» не соответствует смыслу библейской притчи о талантах, откуда взята цитата, можно привести другой пример – «эффект Луки»: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12: 48). При желании оба «эффекта» вполне можно подтвердить примерами из биографий историков. На мой взгляд, в данном случае можно говорить лишь о подмене одной историографической схемы («репрессированной науки») другой («эффект Матфея»). Но подобный подход в отношении человеческих судеб является упрощением, а значит, искажением. Вероятно, нет нужды подгонять жизненный путь того или иного учёного под теории историографов, каждый из которых пишет совсем в других условиях, чем интервьюируемый его историк, и руководствуется собственными соображениями.

Поэтому только скрупулёзные и профессиональные публикации документов и разработанные на их основе научные биографии учёных, к которым относится и издание, подготовленное Е.А. Долговой, приобретают особую ценность и по-настоящему двигают вперёд историческую науку.